

БЕЛЫЙ НАЛЁТ



КРИС ВЕЙЛ

18+

Крис Вейл

Белый налёт

«Автор»

2026

Вейл К.

Белый налёт / К. Вейл — «Автор», 2026

Детектив Джек Мор возвращается в город, где три года назад погибла его жена. Официально — самоубийство. Он курит одну за другой, пьёт таблетки от депрессии и ведёт своё расследование. Галлюцинации, провалы в памяти, странный запах — всё это побочные эффекты от таблеток. Но чем глубже он копает, тем труднее отличить правду от собственного безумия. Пепельница и белый налёт припорошившего снега обволакивают страницы книги.

© Вейл К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	13

Крис Вейл

Белый налёт

Глава 1

Глава 1. Приезд

Ноябрь, четвёртое число. Четыре сорок вечера, а уже сумерки. Небо низкое, серое, без единого просвета — как мокрое одеяло, брошенное на город. Я въезжаю в Картрайт по мосту через Гарроу. Река быстрая, тёмная, не замёрзла — течение сильное, пар от воды поднимается клубами, смешивается с выхлопом моей машины. Внизу, у берега, чёрные льдины, тонкие, как осколки стекла. Вода пахнет холодом и ржавчиной. Я опускаю стекло на палец, чтобы вдохнуть, и тут же поднимаю — ветер ледяной, режет лицо.

Печка в «Каприс» работает через раз. Я держу руку на решётке, чтобы чувствовать хоть что-то. Пальцы мёрзнут. Я курю третью за час — «Кэмел» без фильтра. Окно приоткрыто на два пальца, дым вытягивает, но холод лезет в салон, оседает на приборной панели изморозью. Радио шипит. Диктор что-то говорит про ядерные переговоры в Женеве, я не слушаю. Слова растворяются в помехах, остаётся только треск и редкие обрывки: «...сокращение вооружений...», «...не исключено...». Я выключаю. Тишина становится плотнее. Только двигатель, ветер и моё дыхание.

Город начинается сразу за мостом. Сойер-стрит — неон, витрины, люди с пакетами. Аптека, зелёный крест мигает. Кинотеатр, афиша выцвела, название не разобрать — какая-то мелодрама, мужчина и женщина под дождём. Ломбард, в окне — гитары, обручальные кольца, старый телевизор с деревянным корпусом. Закусочная «У Мэйбл», пар от вытяжки, в стекле отражается неон. Бар «Слепая сова», вывеска — сова с заклеенным глазом, жёлтый свет из-под двери, музыка, приглушённая, бас. Я проезжаю мимо, ищу отель. Свет фар выхватывает тротуар, соль, чёрные лужи, мокрый снег, который ложится на асфальт и тут же тает. Дворники скребут по стеклу, резина скрипит. Люди идут быстро, головы втянуты в плечи, воротники подняты.

Отель «Блю Мун» — между ломбардом и кинотеатром. Два этажа, вывеска мигает, буква «М» не горит — «БЛЮ УН». Сосна на логотипе треснула — краска облупилась по стволу, обнажила ржавое железо. Парковка полупустая. Три машины: пикап с деревянными бортами, седан с помятым крылом, «Форд» с наклейкой на бампере — «Если ты не охотник, ты — дичь». Я паркуюсь у стены, глушу двигатель. Тишина. Только ветер с реки и где-то далеко — поезд, глухой, протяжный гудок.

Я сижу минуту, не выхожу. Смотрю на противоположный берег. За рекой, на северной окраине, за старым парком — клиника. «Блэквуд». Три корпуса, красный кирпич, окна с решётками. Окна светятся. Тепло. Я представляю, как там внутри. Хлорка. Жжёный сахар.

Я не знаю, откуда это. Я никогда здесь не был.

Достаю диктофон. «Сони», кассетный, серый, потёртый по углам, с наклейкой «Т-120». Я купил его в восемьдесят втором, когда Финч сказал: «Пишите, Джек. Руки трясутся — не пишите, говорите. Голос — тоже память». Я тогда усмехнулся. Теперь у меня двенадцать кассет. Эта — тринадцатая. Я кладу её на колени, нажимаю красную кнопку. Кассета шуршит, потом щёлкает — плёнка пошла.

— Рут, это я. — Голос хриплый, я откашливаюсь. — Ноябрь, четвёртое. Картрайт, Мэн. Я на месте. Отель «Блю Мун». Номер четырнадцать.

Пауза. Кассета крутится, шуршит, считает метры.

— Если ты это слушаешь, значит, я не вернулся. Или вернулся, но не всё. Я не знаю.

Я смотрю на клинику через реку. Стекло запотело, я стираю ладонью.

— Я вижу «Блэквуд» из окна машины. Красный кирпич. Окна светятся. Я думал, будет иначе. Я думал, я не узнаю. Узнал.

Ещё пауза. Ветер бьёт в бок машины, качает.

— Комната двести двенадцать. Эвелин написала это на фотографии. Я не знаю, что там. Я не знаю, почему я помню запах. Хлорка и жжённый сахар. Я чувствую его с моста.

Я выключаю. Кассета щёлкает. Тишина. Печка гудит, но не греет.

Рут — моя секретарша. Была. Пятнадцать лет. Рыжая, с родинкой над губой, вечно в шерстяном кардигане, даже летом. Она ушла, когда меня отстранили. Не потому что не верила. Потому что боялась. Я не виню её. Я записываю эти кассеты, зная, что она их не слушает. Они лежат в коробке в её столе. Или в моём шкафу в Бостоне. Я не знаю, куда она их кладёт. Она ни разу не сказала.

Но я всё равно записываю. Потому что говорить вслух — это не то же самое, что думать. Думать можно что угодно. Говорить — нельзя.

В холле тепло, но от ковра пахнет сыростью — старая шерсть, пыль, что-то кислое. Люстра под потолком — жёлтая, в форме блюда, три лампочки из пяти перегорели. На стойке — колокольчик для вызова, медный, потускневший. За стойкой — парень. Лет девятнадцать. Волосы светлые, зачёсанные назад, улыбка шире, чем нужно. На нём рубашка с коротким рукавом, хотя в холле холодно.

— Мистер Мор? — говорит он. — Мы вас ждали.

— Кто ждал?

— Я. Бен. — Он протягивает ключ на брелке. — Четырнадцатый. Второй этаж, окна во двор.

Я беру ключ. Брелок пластиковый, сосна, как на вывеске. Треснула. На ключе — номер, нацарапанный, или выбитый. Четырнадцать.

— У нас автомат с сигаретами внизу, — говорит Бен. — Если что.

— Спасибо.

— И кофе. Но кофе плохой. — Он улыбается. — Вы надолго?

— Не знаю.

— Все так говорят.

Я поднимаюсь по лестнице. Ковёр на ступенях протёрт до основы — серо-бурый, с узором, который стёрся до неразборчивых пятен. Перила скрипят под ладонью. Радиатор на площадке шипит, но не греет — только влажное тепло, как изо рта. Стены оклеены обоями в мелкий цветок, местами отходят, под ними — тёмные пятна.

Номер четырнадцать. Кровать, комод, зеркало над комодом, стол у окна, стул. Радиатор под окном. Я трогаю — горячий. Но окно продувает, из щелей тянет, занавеска колыхнется, хотя окно закрыто. На комод — Библия, «Жёлтые страницы» за 1983 год, пепельница. На стене — картина: сосна, река, олень пьёт воду. Краска потрескалась. Пахнет пылью, старым деревом, чем-то сладковатым — может, дезодорантом, может, чем-то ещё.

Из окна видно двор — мусорные баки, чья-то машина без колёс, куст, весь в снегу. А за двором — река. И клиника на том берегу. Красный кирпич. Окна светятся. Я стою и смотрю. Долго. Пока не понимаю, что стою и смотрю уже пять минут.

Я спускаюсь в холл. Автомат с сигаретами — у лестницы, красный, с хромированной ручкой. «Кэмел», «Уинстон», «Лаки Страйк». Я опускаю монеты — три четверти, они звенят, падают в щель. Кручу ручку. Пачка падает с глухим стуком в лоток. Я вскрываю её прямо там, у автомата. Фольга внутри блестит. Закуриваю. Привкус сладкий. Дешёвый табак. Списываю на это.

Вечер. Я сижу на кровати, в свитере, под двумя одеялами. Одеяла тонкие, колючие, пахнут стиркой и чем-то ещё. Пепельница на тумбочке — пластиковая, с логотипом отеля, «БЛЮ

УН». Три окурка. Таблетка — маленькая, белая, горькая — лежит на языке, разъедает слюну. Я запиваю водой из-под крана. Вода пахнет железом и хлоркой. стакан — стеклянный, с трещиной у основания, обёрнут бумажкой «Простерилизовано».

Врач предупреждал: сухость во рту, дрожь, иногда лица в стенах. «Это нормально, Джек. Это пройдёт».

Три года. Не проходит.

Я смотрю в зеркало над комодом. Зеркало старое, в деревянной раме, с пятнами амальгамы — как облака. В отражении — Эвелин. В том платье, в котором я её похоронил. Синее, с белым воротником, шерстяное, она его купила в Бостоне в семьдесят девятом. Она стоит за моей спиной. Я не оборачиваюсь. Я знаю, что её там нет.

— Ты обещал, Джек, — говорит она.

Голос тихий, как из другой комнаты. Я обещал. Много раз. Бросить. Начать сначала. Не пить. Не копать. Я не сдержал ни одного.

Я закрываю глаза. Считаю до десяти. Открываю. Зеркало пустое. Только я. Сорок два года. Складка между бровями. Седины больше, чем год назад. Глаза красные.

Беру диктофон. Кладу на колени. Нажимаю. Плёнка шуршит.

— Рут. Продолжение. — Я смотрю на зеркало. — Она снова была. В зеркале. Синее платье. Сказала, что я обещал. Я не помню, что именно. Я помню много обещаний. Не помню, какое из них.

Пауза. Я смотрю на пепельницу.

— Я принял таблетку. Как всегда. Сухость. Дрожь. Лица в стенах. Финч говорит, это нормально. Три года — нормально.

Я замолкаю. Смотрю на фотографию на тумбочке. Лицом вниз.

— Я нашёл фотографию. Неделью назад. В коробке, которую не открывал три года. Эвелин у клиники. Восемьдесят первый. Пальто, шарф. На обороте — её почерк. Синяя ручка. «Комната двести двенадцать. То, что ты делаешь не думая».

Я беру фотографию. Верчу в руках. Угол загнут. Бумага пожелтела по краям.

— Я не помню, когда она это написала. Я не помню, что это значит. Я не помню, чтобы был в «Блэквуде». Но я помню запах. Хлорка и жжёный сахар. Я чувствую его с моста.

Выключаю. Кассета щёлкает. Пепельница переполнена — окурки лежат горкой, пепел осыпается на тумбочку.

Я курю ещё одну. Дым поднимается к потолку, стелется, слоями, как вода в заводи. Сладкий привкус. Я думаю: надо купить другие сигареты. Эти какие-то странные.

Потом забываю.

Окно покрывается изморозью — изнутри, от дыхания и тепла. Я рисую пальцем линию — сверху вниз. Она похожа на реку. Или на вену. Я не должен об этом думать.

За стеной кто-то ходит. Шаги медленные, тяжёлые. Потом тишина. Потом снова. Я слушаю. Шаги останавливаются у моей двери. Я жду стука. Стука нет.

Я лежу, не дыша. Считаю. До ста. Шаги уходят.

Я тянусь к тумбочке. Беру диктофон. Нажимаю. Голос шёпотом, чтобы не разбудить никого. Хотя кого? Я один.

— Рут. Кто-то ходил за дверью. Остановился. Не постучал. Ушёл. — Пауза. — Это может быть портье. Это может быть кто угодно. Это может быть никто. Я не знаю.

Ещё пауза. Плёнка шуршит.

— Завтра я пойду в «Блэквуд». Скажу, что проверка. Или что ищу работу. Или что просто проездом. Лэнг. Главврач. Эвелин его не любила. Я помню это. Почему я помню именно это?

Выключаю. Диктофон тёплый в руке.

За окном — клиника. Окна светятся. Кто-то там не спит. Как и я.

Я засыпаю с сигаретой в руке. Она гаснет сама. Пепел падает на одеяло. Утром я найду прожжённую дырку и не вспомню, откуда она.

Последнее на сегодня. На кассету не буду. Сил нет.

Я не знаю, зачем я здесь. Я знаю, что должен найти комнату двести двенадцать. Я знаю, что Эвелин что-то там видела. Я знаю, что она умерла.

Я не знаю, кто её убил.

Или знаю. И не помню.

Изморозь на окне растёт. Я рисую ещё одну линию. Она пересекает первую. Крест. Или окно. Или решётка.

Я закрываю глаза. В темноте пахнет дезинфекцией.

Глава 2

Глава 2. Блэквуд

Я проснулся от холода, который забрался под одеяло, как чужие пальцы, и долго лежал, глядя в потолок, где трещина разветвлялась надвое, напоминая то ли реку в дельте, то ли вену, вспоротую ножом. Одеяло сползло на пол, окно за ночь покрылось изморозью — толстой, узорчатой, похожей на сахарную глазурь, которую кто-то нанёс слишком щедро. В одеяле, у самого края, темнел прожжённый кратер от сигареты, и я не помнил, как он появился. Я не помнил, как уснул. Я вообще ничего не помнил после того, как выключил диктофон, и эта пустота в памяти была такой же привычной, как утренний вкус горечи во рту.

Тело ломило так, словно я всю ночь таскал тяжести. Руки тряслись — мелко, противно, по-стариковски. Я сел на кровати и потёр лицо ладонью, чувствуя под пальцами жёсткую щетину и глубокие складки, которые за три года прорезались на коже, как трещины на старой краске. В зеркале напротив отражался человек, которого я не узнавал: сорок два года, мешки под глазами, седина на висках, складка между бровями, глубокая, как шрам.

Я принял утреннюю таблетку — горькую, разъедающую слюну, — и запил её водой из-под крана, которая пахла железом и хлоркой. стакан с трещиной у основания стоял на тумбочке, а бумажка с надписью «Простерилизовано» отклеилась и лежала рядом, сморщенная, как мёртвая бабочка. Я закурил первую за день, на голодный желудок, и голова закружилась, а привкус был сладким, и я снова списал это на дешёвый табак, потому что за двадцать пять лет так и не научился различать оттенки дыма.

Автобус шёл через мост по Прескотт-авеню, мимо старого парка, где деревья стояли голые и чёрные, а ветки их рисовали на сером небе трещины, похожие на те, что я видел в потолке. Парк был заброшен: качели без сидений, карусель, вросшая в мёрзлую землю, урны, переполненные снегом. За парком открывалась река Гарроу — быстрая, тёмная, с паром, поднимавшимся над водой, как дыхание спящего зверя. Мост. За мостом — «Блэквуд».

Я вышел у ворот, и автобус уехал, оставив меня одного среди холода и тишины, нарушаемой только ветром с реки. Клиника вблизи оказалась больше, чем виделась с того берега: три корпуса красного кирпича, потемневшего от влаги, окна с решётками, мелкой сеткой, как на старых фабриках, и кое-где за ними горел свет. Главный вход — стеклянные двери, за которыми угадывался жёлтый свет, растение в кадке, давно засохшее, и вывеска, выбитая в камне: «БЛЭКВУД. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА». Ниже, мельче, год: «1904». Я стоял и смотрел на эти буквы, и сердце билось чаще, хотя я не мог бы объяснить почему.

Двери разъехались сами, и меня окутало теплом, запахом хлорки и жжёного сахара — тем самым запахом, который я чувствовал с моста и который, казалось, преследовал меня всю жизнь, хотя я не мог вспомнить, откуда он взялся.

Холл был большой и гулкий, с серой плиткой на полу, стёртой в центре, как дорожка, протоптанная сотнями ног. Слева стояла стойка регистрации, за которой никого не было, справа — ряды стульев, на которых сидели люди в халатах: пациенты, некоторые смотрели в стену, некоторые курили, и пепельницы на полу были переполнены. Окна заклеены на зиму полосами скотча крест-накрест, между ними вставлена бумага, и свет от ламп был жёлтым, дрожащим, как пламя свечи в предгрозовом воздухе.

Я подошёл к стойке, где лежал журнал регистрации с пожелтевшими страницами, ручка на цепочке и медный колокольчик, потускневший от времени. Я не позвонил.

— Вы к кому? — раздался голос за спиной.

Я обернулся. Медсестра — лет сорока, худая, в шерстяной кофте поверх формы, с волосами, стянутыми в пучок, и красными, сухими руками. Она смотрела на меня без улыбки.

— К доктору Лэнгу.

— По какому вопросу?

— Проверка. Из Бостона.

Она задержала на мне взгляд на секунду дольше, чем следовало, но потом кивнула и сказала, что кабинет на втором этаже, налево, двести десять. Я пошёл к лестнице, чувствуя её взгляд на спине, и когда обернулся, она уже что-то писала в журнале.

Лестница была широкой, с перилами из тёмного дерева, отполированными до блеска сотнями рук, и на площадке шипел радиатор, но не грел. Стены были выкрашены в цвет старой кости, местами краска облупилась, и на втором этаже коридор тянулся длинный, прямой, как ствол, с круглыми плафонами под потолком, три из пяти мигали. Пахло сильнее — хлоркой, жжёным сахаром и чем-то сладковатым, тошнотворным, как гниющее яблоко.

Я шёл мимо дверей с табличками «201», «202», «203», и за ними было тихо, или почти тихо: где-то далеко бормотали, где-то ближе слышались шаги. У двери «210» я остановился и постучал.

— Войдите, — сказали за дверью.

Кабинет был небольшим, но светлым, с окном без решётки, выходящим на озеро Мерси — серое, мёрзлое, с берегом в снегу. На столе лежали бумаги, папки, горела лампа с зелёным абажуром, на стене висели дипломы в рамках, стоял книжный шкаф, а у стены — кушетка для пациентов, на которой лежал аккуратно сложенный плед.

Лэнг сидел за столом: лет пятидесяти, седой, гладко выбритый, в белом халате, под которым виднелся тёмно-синий галстук с мелким узором. Очки в тонкой оправе. Он не встал, когда я вошёл, а только посмотрел на меня и сказал:

— Мистер Мор. Я ждал вас.

Я не сказал, что не называл имени. Я не сказал, что не звонил. Я сел на стул напротив — жёсткий, деревянный, без подлокотников.

— Вы знали, что я приеду?

— Я знал, что вы вернётесь, — ответил он, откидываясь в кресле. — Рано или поздно. Люди возвращаются. Это их природа.

— Вы знали мою жену.

— Знал. — Он кивнул. — Эвелин. Прекрасный врач. Прекрасный человек. Трагический конец.

— Самоубийство.

— Да. — Он смотрел на меня спокойно, серыми глазами. — Шизофрения. Параноидальная. В вашем возрасте она казалась такой сильной. Умная. Но болезнь не выбирает. Она просто приходит.

— Где это было?

— Простите?

— Где она умерла? В какой комнате?

Пауза. Лэнг смотрел на меня, потом открыл папку на столе и начал листать, и бумага шуршала под его пальцами.

— Комната двести двенадцать, — сказал он. — Северное крыло.

— Я хочу её увидеть.

— Это не обязательно. — Он закрыл папку. — Там ничего нет. Кладовая. Мы переоборудовали. Храним инвентарь. Швабры, вёдра. Ничего больше.

— Я хочу увидеть.

Он смотрел на меня долго, и в его взгляде было что-то, чего я не мог прочесть. Потом он кивнул и сказал:

— Хорошо. Я провожу.

Северное крыло было другой частью клиники, и мы шли туда через стеклянный переход между корпусами, где было холодно, стёкла покрыты изморозью, и видно было только силуэты

деревьев и серое небо. Пар от дыхания. Лэнг шёл быстро, я за ним, и шаги наши гулко отдавались в пустоте, как в пустом бассейне.

Потом была дверь, коридор, темнее, чем в главном корпусе, лампы через одну, и запах — сильнее, чем прежде. Жжёный сахар. Я остановился.

— Что это за запах?

— Какой?

— Сладкий. Как жжёный сахар.

Лэнг посмотрел на меня, потом на лампу над головой.

— Люминесцентные. Старые. Гудят и пахнут. Мы меняем, но не успеваем. Бюджет.

Он пошёл дальше, а я стоял секунду, вдыхая этот запах, и знал, что он не от лампы, но не стал спорить.

Комната двести двенадцать была в конце коридора. Дверь обычная, деревянная, крашеная, с латунной табличкой, на которой были выбиты цифры. Я смотрел на них долго, прежде чем Лэнг достал ключ и открыл дверь.

Внутри было темно. Он щёлкнул выключателем, лампа мигнула и загорелась. Комната маленькая: кушетка у стены, застеленная серым одеялом, стол, стул, окно без решётки, выходящее на озеро Мерси — серое, мёрзлое. На подоконнике стояла швабра, ведро и бутылка с моющим средством, в углу громоздились коробки. Пахло пылью, хлоркой и жжёным сахаром.

Я стоял в дверях и смотрел на кушетку, на окно, на пол — серую плитку, как в холле. Одна плитка у кушетки была темнее остальных, и я смотрел на неё долго, не в силах отвести взгляд.

— Что здесь? — спросил я.

— Инвентарь, — сказал Лэнг. — Как я сказал.

— Под плиткой.

Пауза. Лэнг посмотрел на меня, потом на плитку, потом снова на меня.

— Там ничего нет, мистер Мор. Вы устали. Вы принимаете лекарства?

— При чём здесь лекарства?

— От депрессии. — Он говорил спокойно, как говорят с пациентом. — Я вижу по зрачкам. Сухость во рту. Тремор. Классические побочные. Вы видите то, чего нет. Это нормально. Это пройдёт.

Я смотрел на него и хотел сказать, что он врёт, что я не сумасшедший, что плитка темнее, и я это вижу. Но я молчал, потому что руки тряслись, потому что в зеркале вчера была Эвелин, потому что я не помнил, как уснул.

— Пойдёмте, — сказал Лэнг. — Здесь холодно. Выпьём кофе.

Мы сидели в его кабинете, и кофе в керамических чашках был тёмным и горьким. Я держал чашку двумя руками, чтобы она не дрожала. Лэнг смотрел на меня.

— Зачем вы приехали, мистер Мор?

— Вы знаете.

— Я знаю, что вы не верите в самоубийство. Я знаю, что вы копали три года назад. Я знаю, что вас отстранили. — Он поставил чашку. — Я знаю, что вы лежали здесь. В восемьдесят первом. Три месяца. Депрессия с психотическими эпизодами.

Я смотрел на него, и внутри у меня всё холодело, как будто в меня влили речную воду.

— Я не помню этого.

— Я знаю. — Он кивнул. — Это была тяжёлая форма. Вы забыли. Это защитная реакция. Психика стирает то, что не может вынести.

— Что я не мог вынести?

— Смерть жены. — Он говорил тихо. — Вы видели её тело. Вы были там. Вы нашли её. Вы не помните?

Я молчал. Я не помнил. Я не помнил, как нашёл её. Я помнил только звонок, голос в трубке, «мистер Мор, ваша жена...», а дальше — темнота, три года темноты.

— Я хочу посмотреть архив, — сказал я. — Медкарту Эвелин. Свою медкарту.

Лэнг смотрел на меня, потом кивнул.

— Завтра. Сегодня архив закрыт. Приходите утром. Я распоряжусь.

Он встал и протянул руку, и я пожал её — сухую, холодную.

— И ещё, мистер Мор. — Он смотрел мне в глаза. — Бросьте курить. Это вас убивает.

Я не ответил. Я вышел, двери разъехались, и меня ударил ветер с реки. Я стоял на крыльце и закуривал, и пальцы дрожали, и спичка гасла, и вторая загорелась, и дым был сладким. Запах жжёного сахара. Я обернулся. За стеклянными дверями, в холле, среди пациентов и медсестры, стоял Лэнг и смотрел на меня. Он не улыбался.

Я пошёл к автобусу и не оборачивался.

В номере четырнадцать я сидел на кровати, держа диктофон на коленях, и кассета шуршала, отсчитывая метры.

— Рут. Продолжение. — Голос был хриплым. — Был в «Блэквуде». Видел комнату двести двенадцать. Северное крыло. Окно на озеро. Лэнг говорит — кладовая. Швабры, вёдра. Ничего больше.

Я замолчал и посмотрел на окно, за которым изморозь рисовала узоры, а за узорами виднелась клиника — красный кирпич, светящиеся окна.

— Плитка у кушетки темнее остальных. Я не уверен. Может, показалось. Может, лекарства. Может, я сумасшедший. Лэнг говорит — я лежал здесь. В восемьдесят первом. Три месяца. Я не помню.

Я замолчал, посмотрел на пачку «Кэмел», взял сигарету и закурил, и дым поплыл к потолку, стелясь слоями, как вода в заводи.

— Лэнг сказал: бросьте курить. Это вас убивает. — Пауза. — Я курю двадцать пять лет. Все говорят — брось. Жена говорила. Врач говорил. Я не бросил. Может, зря.

Я выключил диктофон, и кассета щёлкнула, и наступила тишина.

Запишу. Пока помню. Если забуду — пусть останется.

Комната 212. Северное крыло. Окно на озеро Мерси. Кушетка. Плитка темнее остальных.

Лэнг. Он знает больше, чем говорит. Он ждал меня. Он сказал: «Вы вернётесь». Откуда он знал?

Запах. Жжёный сахар. В клинике, в номере, на улице. Лэнг говорит — лампы. Я не верю.

Эвелин. В зеркале не было. Сегодня. Может, прошло. Может, нет.

Лекарства. Каждое утро. Как всегда.

Я лёг, не гася свет, и лежал, глядя в потолок, где трещина разветвлялась надвое. За стеной было тихо, и я ждал шагов, считая до ста, но шагов не было. Я закрыл глаза, и в темноте передо мной возникла комната двести двенадцать: кушетка, окно, плитка — темнее остальных. Я не знал, что под ней, но я знал, что узнаю.

Глава 3

Глава 3. Шериф

Утро третьего дня встретило меня туманом, который поднялся от реки и затопил улицы так плотно, что дом напротив превратился в серый силуэт, а клиника на том берегу исчезла вовсе, будто её никогда и не было. Я стоял у окна и смотрел в эту белую пустоту, и мне казалось, что мир за пределами номера перестал существовать, оставив меня одного в комнате с треснувшим зеркалом и запахом старого ковра.

Пепельница на тумбочке была переполнена — окурки лежали горкой, пепел осыпался на дерево, и я не помнил, когда успел выкурить столько. Руки тряслись сильнее обычного, и я с трудом попал сигаретой в рот, а спичка сломалась, и вторая загорелась только с третьего раза. Дым был сладким, и я снова подумал, что надо сменить марку, но тут же забыл об этом, потому что мысли у меня держались не дольше, чем дым в холодном воздухе.

Я принял утреннюю таблетку и запил её водой, которая пахла железом, и какое-то время сидел на кровати, глядя на свои руки. Они лежали на коленях, худые, с выступающими венами, и дрожали так, словно в них поселился чужой холод. Я вспомнил, как Лэнг смотрел на меня вчера — спокойно, серыми глазами, как смотрят на пациента, — и его слова о том, что я вижу то, чего нет, возвращались ко мне, как эхо в пустом коридоре.

Может, он прав. Может, я действительно болен. Может, всё, что я помню и вижу, — это только игра больного воображения, и комната двести двенадцать, и плитка темнее остальных, и запах жжёного сахара — всё это лишь тени в моей голове. Но тогда почему этот запах я чувствовал ещё с моста, задолго до того, как вошёл в клинику? Почему я знал, что внутри пахнет хлоркой, хотя никогда там не был — или был, но не помню?

Я оделся, не снимая свитера, и спустился вниз, где автомат с сигаретами стоял у лестницы, красный, с хромированной ручкой, и в холле было тепло, но от ковра тянуло сыростью, как из подвала. Я опустил монеты, и пачка упала в лоток с глухим стуком, и я вскрыл её тут же, у автомата, и закурил, и привкус был сладким, и я не обратил на это внимания, потому что за двадцать пять лет так и не научился различать оттенки табака.

За стойкой сидел Бен. Он смотрел на меня с той же широкой улыбкой, что и вчера, и мне показалось, что он не моргает.

— Доброе утро, мистер Мор, — сказал он. — Как спалось?

— Как в гробу.

Он засмеялся, и смех его был слишком громким для пустого холла.

— Вы сегодня куда-то собираетесь?

— В участок.

— К шерифу Холлису? — спросил он, и улыбка его на мгновение стала другой — чуть шире, чуть неправильнее, как будто он знал что-то, чего не знал я. — Передайте ему привет.

Я вышел на улицу, и туман проглотил меня сразу, как только двери закрылись. Я шёл по Сойер-стрит, мимо витрин, в которых ничего не было видно, мимо закусочной «У Мэйбл», откуда тянуло горячим жиром, мимо ломбарда с гитарами и кольцами за мутным стеклом. Люди выходили из тумана и исчезали в нём, как призраки, и я не видел их лиц.

Участок стоял на углу Сойер-стрит и Гарроу-стрит, приземистое здание из серого камня, с флагом на фасаде, обвисшим от влаги. Я поднялся по ступеням, вытер ноги о решётку и вошёл внутрь, где пахло бумагой, кофе и мокрой шерстью.

Шериф Холлис сидел в своём кабинете, за столом, заваленным папками, и когда я вошёл, он поднял голову, и на лице его отразилось не удивление, а что-то похожее на усталость, как будто он ждал меня и надеялся, что я не приду. Это был крупный мужчина лет пятидесяти, с

обвисшими щеками и тяжёлыми руками, в рубашке с закатанными рукавами, и на столе перед ним лежала пачка сигарет — та же марка, что и у меня, и рядом стояла чашка с остывшим кофе.

— Мистер Мор, — сказал он, не вставая. — Присаживайтесь.

Я сел на стул напротив, и стул скрипнул подо мной, как живой.

— Вы знаете, зачем я здесь.

— Догадываюсь. — Он откинулся в кресле, и кресло тоже скрипнуло. — Дело вашей жены. Три года прошло. Официально закрыто.

— Я знаю, что закрыто. Я хочу знать, почему.

— Потому что доказательств нет. — Он развёл руками. — Самоубийство. Медицинское заключение. Свидетелей нет. Всё чисто.

— Она не убивала себя.

Холлис молчал. Он смотрел на меня долго, и в его взгляде было что-то, чего я не мог прочитать — может, жалость, может, страх, может, просто усталость человека, который слишком часто повторял одни и те же слова.

— Мистер Мор, — сказал он наконец. — Я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вы не верите. Но я не могу открыть дело, которое закрыто, на основании того, что вы чувствуете.

— Я не прошу открывать. Я прошу показать материалы.

— Материалы уничтожены.

— Что?

— Срок хранения. Три года. Дело признано бесперспективным, материалы уничтожены согласно регламенту. — Он говорил ровно, как по бумаге, и я понял, что он повторял эти слова не в первый раз, и, возможно, не в последний.

— Уничтожены, — повторил я, и голос мой прозвучал глухо, как из-под воды.

— Да. — Холлис взял чашку, посмотрел в неё, поставил обратно. — Мне жаль.

Я смотрел на него и думал о том, что он врёт. Не так, как врут, когда скрывают правду, а иначе — как врут, когда не могут сказать то, что знают, потому что правда слишком тяжёлая или слишком опасная. Его руки лежали на столе, и одна из них, правая, чуть заметно дрожала, и я подумал, что это не от старости.

— Вы знали её, — сказал я. — Эвелин. Вы знали её лично.

— Знал. — Он кивнул. — Хороший человек был. Жалко.

— Вы были на похоронах.

— Был.

— Вы видели тело.

Пауза. Холлис смотрел на меня, и что-то в его лице изменилось, неуловимо, как тень, проползшая по стене.

— Видел, — сказал он тихо. — Как и вы.

— Я не помню.

— Я знаю. — Он отвернулся, посмотрел в окно, за которым туман стоял стеной. — Вам не повезло, мистер Мор. Вам очень не повезло.

Он сказал это так, что я понял: он знает больше, чем говорит, но не скажет ничего, и не потому что не хочет, а потому что боится. И от этого понимания в груди у меня стало холодно, как будто в меня влили ещё одну порцию речной воды.

Я встал. Холлис не попытался меня остановить.

— Мистер Мор, — сказал он, когда я уже взялся за ручку двери. — Если вы что-то найдёте — приходите. Но не копьте в одиночку. Это плохо кончается.

Я вышел, не оборачиваясь.

Обратный путь я не помню. Туман стал гуще, или мне так казалось, и улицы были пусты, и только редкие машины проползали мимо, светя жёлтыми фарами, как глаза в темноте. Я шёл по Соьер-стрит, потом свернул на Гарроу, и ноги сами привели меня к старому парку —

тому самому, который я видел из автобуса, с качелями без сидений и каруселью, вросшей в мёрзлую землю.

Я вошёл в парк. Снег лежал нетронутый, и мои шаги оставляли тёмные следы, как раны на белой коже. Я шёл по аллее, мимо голых деревьев, чьи ветки были похожи на трещины, и туман был таким плотным, что я не видел дальше трёх шагов.

И тогда я увидел её.

Она сидела на скамейке, в глубине аллеи, и это была Эвелин — в том самом синем платье, в котором я её похоронил, с белым воротником, без пальто, без шапки, без шарфа, и снег ложился ей на плечи и на волосы, и она не замечала этого. Она смотрела на меня, и лицо её было спокойным, как у человека, который ждал долго и дождался.

Я остановился. Сердце ударило в грудь, и я почувствовал, как кровь отхлынула от лица.

— Джек, — сказала она. Голос был тихий, но я слышал его ясно, несмотря на туман, который должен был бы заглушить любые звуки.

Я не двинулся с места. Я знал, что её нет. Я знал, что это бред, галлюцинация, игра больного мозга, побочный эффект, как сказал Лэнг. Но я стоял и смотрел, потому что не мог не смотреть.

— Ты обещал, — сказала она.

— Что я обещал? — спросил я, и голос мой сорвался, как струна.

Она не ответила. Она просто смотрела на меня, и снег падал на неё, не тая, и я подумал, что так не бывает, что снег должен таять на живом человеке, и, значит, она не живая, и, значит, это бред, и всё-таки я сделал шаг к ней.

Она встала. Медленно, как в воде. И пошла вглубь аллеи, не оборачиваясь. Я пошёл за ней, и ноги мои увязали в снегу, и туман смыкался за спиной, и деревья стояли вокруг, как чёрные стражи.

Потом она исчезла. Просто растаяла, как дым, между двумя шагами. Я остановился. Я стоял один в глубине парка, и вокруг был только снег, и туман, и тишина.

Я обернулся, чтобы найти скамейку, на которой она сидела. И нашёл её. Скамейка была старая, деревянная, с облупившейся краской. И на ней, на сиденье, среди свежего снега, был отпечаток — вмятина, как будто кто-то сидел здесь долго, продавив снег до дерева. Я смотрел на этот отпечаток, и в горле у меня пересохло.

Я достал сигарету. Пальцы тряслись так, что я не мог попасть в рот. Спичка сломалась. Вторая загорелась. Дым был сладким, и я стоял в тумане, курил, смотрел на вмятину в снегу и не знал, что думать.

В номер я вернулся уже в сумерках. Не помню, как дошёл. Не помню, как поднялся по лестнице. Помню только, что сидел на кровати, и в комнате было темно, и я не зажигал свет, потому что боялся увидеть в зеркале то, чего там быть не должно.

Потом я взял диктофон. Кассета шуршала, отсчитывая метры.

— Рут. Продолжение. — Голос был хриплым, как у человека, который долго молчал. — Был у шерифа. Холлис. Материалы уничтожены. Три года. Регламент.

Пауза. Я смотрел в темноту перед собой.

— Потом я пошёл в парк. Старый парк, у реки. И увидел Эвелин. Она сидела на скамейке. В синем платье. Без пальто. Сказала, что я обещал. Потом ушла.

Я замолчал. В темноте было тихо, только радиатор шипел под окном.

— Лэнг говорит, это лекарства. Что я вижу то, чего нет. Может, он прав. Может, я сумасшедший. Но на скамейке остался отпечаток. Вмятина в снегу. Я не знаю, что это значит.

Ещё пауза. Я слушал своё дыхание, и оно казалось чужим.

— Холлис сказал: не копай в одиночку. Это плохо кончается. Я не знаю, что он имел в виду. Может, он просто боится. Может, он знает.

Я выключил диктофон. Кассета щёлкнула. Тишина.

Запишу. Пока помню.

Холлис. Материалы уничтожены. Он врёт. Или не врёт, но боится.

Эвелин в парке. Синее платье. Снег не таял на ней. Отпечаток на скамейке. Я не знаю, что это было. Галлюцинация не оставляет следов. Или оставляет?

Лэнг. Лекарства. Он говорит — побочные. Может, прав.

Завтра — архив. Лэнг обещал распорядиться. Медкарта Эвелин. Моя медкарта. Я узнаю, что было в восемьдесят первом.

Запах жжёного сахара. Я чувствую его сейчас. В номере. Откуда?

Я лёг, не раздеваясь, и лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, где трещина разветвлялась надвое. За стеной было тихо, и я ждал шагов, но шагов не было. Я думал о Холлисе, о его дрожащей руке, о том, как он сказал: «Вам очень не повезло». Я думал об Эвелин в парке, о снеге, который не таял на её плечах, об отпечатке на скамейке. Я думал о завтрашнем дне, об архиве, о папках, в которых, возможно, лежит правда.

И ещё я думал о сигаретах. О том, что привкус у них сладкий, и что я замечаю это уже третий день подряд, и что, может быть, стоит наконец сменить марку.

Потом я забыл об этом.